



М. Н. ПОКРОВСКИЙ

**Бакунин в русской революции
(К пятидесятилетию со дня смерти)**

Писать о Бакунине стало возможно в России довольно давно. Уже в 1914 г., к столетию его рождения, «Голос Минувшего» мог посвятить ему почти целую книжку; еще раньше без особых затруднений прошла крупная заметка о Бакунине в словаре Граната. Революция устранила все препятствия и дала громадный новый материал, до тех пор спрятанный в архивах. И тем не менее до сих пор мы не имеем полной биографии Бакунина (если не считать популярных книжек). До сих пор удельный вес этой огромной исторической фигуры как-то не определен окончательно. Поставили было памятник — и сняли. Первое предложение назвать именем Бакунина одну из московских улиц провалилось, потом назвали какую-то на окраине.

Назвать Бакунина великим революционером как-то не решаются, а между тем это был один из величайших в Европе XIX столетия и безусловно самый крупный в России в доленинский период. Ни Пестель, ни Герцен, как живые революционные фигуры, в сравнение не идут. Конечно, и Желябов¹ гораздо мельче. Мельче по району действия, мельче по исторической значительности.

Несомненно, много мешает здесь то, что именем Бакунина кланутся анархисты; насколько они имеют на это право, мы увидим в дальнейшем. Отчасти с этим связано главное искривление исторической перспективы в этом случае. Популярные истории Интернационала глубоко врзали в наше сознание Бакунина — конспиратора против Маркса, Бакунина — саботажника I Интернационала. Столкновение Бакунина с Марксом далеко не было случайностью. Напротив, оно органически вытекало из классовой позиции обоих, — в дальнейшем мы опять-таки и это увидим. Но как Маркса нельзя даже приблизительно исчерпать конфликтом с Бакуниным,

хотя этот конфликт идет почти через всю биографию Маркса, так и Бакунина нельзя считать заслуживающим внимания истории лишь потому, что Маркс исключил его из I Интернационала. Этого столкновения могло и не быть, а истории все же пришлось бы много заниматься Бакуниным. Другое искривление идет от знаменитой характеристики Герцена. Как все гениально-художественное, она тоже врезалась в память, хотя не столь широких кругов, как первая характеристика. «Большая Лиза» — огромный во всех смыслах ребенок, шумливый, болтливый, вечнодвигающийся и все без толку. Герцен не хотел дать такой характеристики. Он вовсе не хотел сознательно написать карикатуру на своего друга, которому он втайне завидовал и к которому совсем не втайне относился с большим уважением. «С страстью проповедования, агитации, пожалуй, демагогии, с непрерывными усилиями учреждать, устраивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность поигнорировать, отвага принять все последствия. Это — натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил свои силы иногда на вздор так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий... Бакунин имел много недостатков, но недостатки его были мелки, а сильные качества крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда бы то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делать из нее страстный вопрос жизни».

Но этих строк как-то не замечали, а «большую Лизу» все заметили. Беда быть гениальным художником. Нечаянный, но искренний, яркий мазок приковывает к себе все внимание, а того смысла, который хотел художник вложить в эту картину, никто не замечает.

Если прибавить к этому «возмущающий эффект» такого оглушительного документа, как «Исповедь», в котором даже присяжные биографы Бакунина разобрались не сразу, мы поймем трудность и путанность «бакунинского вопроса» даже до сего дня. Остается прибавить еще одно. Бакунин, как литератор, принадлежит к числу тех, — к счастью историков литературы, немногих, — о которых их писания дают крайне несовершенное представление. Бакунин писал страшно много, Герцен называл его письма брошюрами, а наиболее длинные делил даже на тома. И, тем не менее, он написал очень мало. Величайшие его произведения, которым он сам придавал мировое значение, оставались недописанными, и рукописи их потом терялись. То, что им напечатано, представляет собою — в очень отрывочном

виде — дальнейшее развитие его писем, а письма были продолжением устных разговоров. Все вместе составляет одну цепь, и, не имея всех звеньев, восстановить ее почти невозможно. Около Бакунина нужно было бы поставить фонограф и кинематограф, тогда мы имели бы его живую фигуру. Ибо его величие, как революционера, сводилось прежде всего другого к его личности. Она была центром. Кто видел ее, тому были ясны и письма, и печатные брошюры. Кто ее не видел, как мы, тому остается только положиться на чужие отзывы.

Отзывы эти поразительно единодушны. «В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан», записал о нем Герцен. Но мы имеем отзывы людей, для которых «чопорность» была профессиональным признаком и которых Бакунин привлекал не менее, чем других. «В разговоре он в высшей степени обаятелен», говорил о нем один бразильский дипломат, и обаяние на него Бакунина было так велико, что дипломат принял участие в бакунинской конспирации, скрыв пребывание русского революционера в Швеции от своего русского коллеги, который услышал эту характеристику бразильца только после отъезда Бакунина². Одна русская революционерка оставила нам чрезвычайно живую характеристику Бакунина в его последние дни³, когда он жил в Лугано, почти всеми заброшенный, имея своими собеседниками только кучку швейцарско-итальянских рабочих. «Я никогда не видела ни раньше, ни позже такой восторженной, бескорыстной преданности. То было любовное, романтическое чувство учеников к учителю, чувство, где преданность идее сливается с преданностью личности, несущей идею. Так, вероятно, некогда складывались отношения между великими художниками и их учениками, между основателями религий и их ближайшими последователями». А когда она принесла этой восторженной кучке известие о смерти Бакунина, она «даже испугалась собственных слов, — такое потрясающее впечатление они произвели. Плакали не одни бакунисты, плакали и швейцарцы, только слышавшие о Бакунине от товарищей по мастерской. Сантандреа⁴ кинулся наземь, бил ногами по полу, как ребенок, и плакал навзрыд. Я увела его в квартиру Маццотти⁵, где он долго не мог успокоиться. Да и трудно было успокаивать его людям, которые были почти в таком же состоянии. От этого дня у меня осталось смутное впечатление ужаса катаклизма. Рушились какие-то великие надежды, уходила из-под ног почва, и вместе с тем горе это экзальтировало надежды, укрепляло уверенности...».

А за тридцать лет перед этим с этим человеком просиживал ночи Прудон. Суметь приобрести влияние и на Прудона, и на американ-

ского дипломата, и на Герцена, и на полуграмотного итальянского рабочего — такому диапазону влияния какой агитатор не позавидует!

Каково было содержание этой агитации? На первый взгляд мы имеем как будто весьма четкую классовую установку. В набросках «Революция, Россия и славянство», относящихся к 1848 году, мы читаем: «Европа глубоко потрясена революцией, и все остальные народы охвачены демоническими силами нашего времени, раздроблены на партии, разделены на два больших лагеря — на истинный народ и буржуазию — непримиримой враждой, которая не утихнет прежде, чем один другого вполне не победит и покорит». Бакунин не только понимал классовую борьбу; он проникался ее пафосом настолько, что не умел скрыть своих настроений даже там, где они менее всего уместны. В своей знаменитой «Исповеди», стремившейся изобразить поведение Бакунина за границей в красках, наиболее приемлемых для Николая I, мы встречаем о Париже на другой день февральской революции 1848 года такие строки, от которых не отказался бы Герцен: «Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и достигающие крыш, а на них, между камнями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороха и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, эписье⁶ с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетками, а на место их мои благородные увриеры⁷, с торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победой».

Даже национальную вражду он как будто умело переводит в классовые термины. Во втором воззвании к славянам — замечательном документе, который был найден В. П. Полонским совсем недавно, — мы читаем: «Что сделало правительство, чтобы защитить славян? Ничего. А почему оно не сделало ничего? Потому ли, что не могло? О, нет! Тогда оно могло все, ведь оно было всемогущим, и никто не смел ему противоречить. Оно не сделало ничего потому, что не хотело ничего сделать, а не хотело оно ничего сделать потому, что вступило в союз с вашими господами, с вашим дворянством, с вашим духовенством, с привилегированными всех сословий и вступило с ними в союз, чтобы выжать из бедного народа последние соки, последнюю каплю крови».

Австрийское правительство оказывается, таким образом, не немецким правительством, — какой бы это был благодарный мотив для Бакунина! — но дворянским правительством, угнетающим крестьян. И позже, когда Бакунин выступал в Швеции, как присяжный

агитатор польского дела, он всю свою надежду возлагал на восстание русского крестьянства, к немалому удивлению для его собеседника, упоминавшегося выше бразильского дипломата.

Но возьмем документ еще немного более поздний. Принадлежность этого документа целиком Бакунину, конечно, не установлена, но бакунинское происхождение того места, которое я хочу процитировать, никем не оспаривается. Это — предпоследний параграф знаменитого «Катехизиса революционера», возникшего в конце 60-х годов. «Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гильдейского мира и против кулака-мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России».

Вот так класс! — с удивлением скажет читатель-марксист. А в подлинно-бакунинском «Народном деле» в прибавку к этому «классу» мы находим еще «детей разорившихся в пух дворян, разночинцев и семинаристов». Если причислить сюда упоминающуюся там же «особую категорию людей», «заливающих горе вином и протестующих против жизненной тесноты бурным и нередко даже развратным разгулом», — мы исчерпаем «классы», на революционность которых Бакунин особенно надеялся в России. Если бы кто-нибудь дал заказ — изобразить бакунизм идеологией люмпен-пролетариата, он не мог бы получить большего удовлетворения.

В чем же дело? Деградировал, что ли, Бакунин социологически на протяжении этих лет от польского восстания до нечаевского дела? Вовсе нет. В письме к Эскиросу⁸, конца 1870 г., мы находим такие замечательные строки: «Я был и остаюсь социалистом не только потому, что социализм это — действительная свобода, действительное равенство, действительное братство, человеческая и всемирная правда, но и по соображениям социальной физиологии. Я — социалист потому, что я пришел к тому убеждению, что все классы, бывшие до сих пор, если можно так выразиться, главными живыми и действующими лицами исторической трагедии, умерли... Что же остается? Крестьянство и городской пролетариат. Только они могут спасти Европу от прусского милитаризма и бюрократизма, этих двух союзников и двоюродных братьев всероссийского кнута».

Классы Бакунина — не производственные классы, вот в чем его глубочайшее отличие от Маркса, кладущее между двумя этими мировоззрениями непереходимую пропасть, хотя иногда кажется,

что Бакунин говорил совсем по-марксистски. Для марксиста принадлежность к тому или иному классу определяется положением в производстве. Для Бакунина — тем, угнетен человек или сам угнетает другого. Для нас рабочие и крестьяне противоположны буржуа и помещикам. Для Бакунина бедняки противоположны богачам, все равно какие бедняки, все равно каким богачам.

И это коренное отличие Бакунина от Маркса бросает яркий свет на классовое происхождение бакунинской идеологии. Где это нет еще четкого классового различия по производству, но уже есть богатые и бедные? Где это противоположность всей массы бедняков всей массе богатых является действительным историческим фактом, объективной реальностью, от которой должен исходить всякий практический политик? Да в крепостном имении, разумеется. Там есть уже зажиточные крестьяне, есть и бедняки, но эта противоположность стирается общей противоположностью крестьянской массы, трудовой и бедной относительно помещичьей массе, сплошь богатой, потому что по отношению к мужику всякий дворянин, даже Ноздрев⁹, даже Чертопханов¹⁰, является богачом, ибо он, пользуясь крестьянским трудом, сам может ничего не делать.

Бакунин был идеологом и политическим выразителем крепостного крестьянского бунта, о котором он говорил с таким сочувствием на конгрессе Лиги мира и свободы в 1868 г. и который вел свое летоисчисление от пугачевщины. «Со времени казни Пугачева и до наших дней внутренняя, более или менее секретная история империи состоит из последовательного и непрерывного ряда частных и местных восстаний крестьян, — восстаний, вызываемых глубокой и непримиримой ненавистью их к помещикам, ко всем чиновникам и к государственной церкви». И не в первый раз здесь Бакунин ставит исходной точкой того движения, во главе которого он надеялся встать, пугачевщину. В 4-м тезисе «Революция, Россия и славянство» «Бунт Пугачева» является первым из «трех крупных факторов, служащих точкой отправления новой русской жизни».

19 февраля 1861 года великий — и последний удачный — обман Романовыми крестьянства упразднил за ненадобностью не только Герцена. Он, этот обман, в сильнейшей степени ослабил и значение революционной агитации Бакунина и бакунистов в России. Правда, что без них, без Бакунина и бакунистов, промежуток между выстрелом Каракозова и «Народной волей» был бы отмечен совсем мертвым штилем. В этом раздувании слабо тлевшего огня революции едва ли не главная историческая заслуга бакунистов, поскольку они действовали в России. И весьма типичным для этого процесса является первый представитель Бакунина в России — Нечаев, сын мелкого ремесленни-

ка, выкупившегося из крепостной неволи, и сам выбившийся из маляров в народные учителя. Нечаев был уже представителем настоящей мелкобуржуазной революции. У Бакунина мелкобуржуазные черты тоже, конечно, избыточны: достаточно вспомнить его национализм, антисемитизм (наиболее махровые образчики последнего еще не увидели света, и, кажется, затрудняются, как их опубликовать) и т. п. Под феодальной скорлупой помещичьего имения мелкая буржуазия складывалась уже вполне определенно для того, чтобы появиться на свет, когда скорлупа лопнет. Но мелкобуржуазным революционером Бакунин был для Западной Европы, в России он был запоздалым на 50 лет идеологом пугачевщины. Если бы последняя действительно получила такого идеолога, она была бы во всем смысле слова настоящей великой крестьянской революцией. Если бы Бакунину суждено было стать во главе восставшей крепостной крестьянской массы, он не был бы для нас исторической загадкой, и мы не колебались бы при решении вопроса: великий это революционер или только довольно талантливый и очень шумливый агитатор. И не были бы вынуждены вскрывать его подлинное историческое значение анализом цитат из его далеко не полно его отражающих произведений.

Но сказать, что Бакунин был идеологом пугачевщины, значит в то же время объяснить и бдительность бакунинских пережитков в истории нашей революции. Обман 1861 года не ликвидировал ведь на самом деле крепостной неволи, — он только дал ей другую, более «современную» форму. Поскольку в русской деревне оставались крепостные отношения, постольку для бакунинских настроений там всегда оставалось место. И поскольку крестьянская революция, как таковая, т. е. допролетарская, докапиталистическая революция, не была у нас абсолютным анахронизмом даже в 1917 году, постольку Бакунин представлял собою не только эхо далекого прошлого, но и пророчество грядущего. Таким пророчеством звучит до сих пор одна из заключительных фраз его тезисов о «славянстве»: «Угнетаемые народы и классы становились всегда самыми яркими борцами за общечеловеческие права для всех».

Еще пугачевщина слила воедино борьбу за национальную и классовую свободу. И только Октябрьская революция, реализовавшая оба эти лозунга, сделала окончательно ненужными, исторически окончательно изжила идеи Бакунина.

